

18+

Сказания о гонце из забытого княжества:
Гонец Чёрного Бора.

Рина

Рина

**Сказания о гонце из забытого
княжества: Гонец Чёрного Бора**

«Издательские решения»

Рина

Сказания о гонце из забытого княжества: Гонец Чёрного Бора /
Рина — «Издательские решения»,

Гонец Чёрного Бора — мрачное славянское фэнтези, погружающее читателя в атмосферу древней Руси, где реальность переплетается с языческими легендами. В центре повествования — Григорий, княжеский гонец, отправленный с поручением в деревню Заозерье. То, что должно было стать обычным заданием, превращается в борьбу со сверхъестественным злом. В заброшенной деревне он находит кровавое послание и становится свидетелем пробуждения древнего духа Чёрного Бора.

© Рина

© Издательские решения

Содержание

Глава 1. Чёрный Бор	6
Глава 2. Цена переправы	11
Глава 3. Княжьи Врата	14
Глава 4. Свидетельства из Ларца	21
Глава 5. Священная Роща	26
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Сказания о гонце из забытого княжества: Гонец Чёрного Бора

Рина

© Рина, 2026

ISBN 978-5-0071-2355-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1. Чёрный Бор

Ветер, что шёл с Чёрного Бора, не ласкал слух, а пробирал до костей своим зловещим воем.

Он выл старыми, забытыми голосами, теми, что помнят ещё крики языческих жрецов и стон земли под копытами монгольских коней. Он нес в себе запах хвои, прелой болотной тины, и чего-то холодного, металлического, словно привкус крови на языке, даже если рот закрыт.

Григорий сын Васильев, гонец князя Ярослава Мшарынского, того что сидел в Черноборске, знал этот ветер. Он называл его боровиком. Не в честь гриба, а в честь хозяина тех мест, того, о ком шептались по вечерам у печей, чьё имя старались не произносить вслух, чтобы не призвать. Боровик, дух Чёрного Бора. Дедушка леса. А если не почишь — станешь его частью: будешь стонать в его ветвях, гнить в его корнях.

— Спокойно, Вихрь, спокойно, — Гриша приглушённым голосом успокаивал коня, больше чем себя.

Вороной жеребец фыркал, бросал головой, и его грива, чёрная, как смоль, развевалась в такт порывам того самого ветра. Гриша чувствовал под собой, как напряжены мускулы скакуна, готовые в любой миг сорваться в бешеный галоп. Конь чуял. Чуял раньше и острее человека.

«Глупости, — сурово сказал себе Григорий. — Дорога как дорога. Лес как лес».

Он потрогал кожаную сумку у пояса, где лежала обычная, скучная берестяная грамота — приказ о поставке зерна в деревню Заозерье. Рутинное поручение. Последнее перед долгожданными несколькими днями покоя. Он уже представлял, как будет есть горячую похлёбку в гостеприимной избе старосты, как Вихря отпоят свежей водой и накормят овсом. А потом — сон. Долгий, без сновидений.

Но лес, казалось, читал его мысли и глумился над ними.

Тропа, ещё вчера хорошо наезженная, сегодня казалась чужой. Корни выпирали из земли будто нарочно, желая заставить коня споткнуться. Ветви сосен, обычно величественно вознесённые к небу, сегодня склонились низко, словно хотели задеть его по лицу, ощупать, проверить. Воздух был не просто холодным. Он был густым. Им было тяжело дышать, точно грудь сдавили мокрым холщовым мешком.

И тишина.

Вот что злило Григория больше всего.

Исчезли дятлы. Умолкли сойки. Даже назойливый стрекот кузнечиков и лягушек у болота стих. Остался только вой боровика да тяжёлое, учащённое дыхание Вихря. Собственное сердце Гриша слышал прямо в висках, глухой, тревожный барабан.

«Если что в лесу не по-людскому зовётся — не встречайся с ним глазами. Оно тогда тебя не признает».

Слова отца, старого гонца, покоящегося теперь под простым деревянным крестом, всплыли в памяти сами собой, ясные, будто он стоял рядом и шептал на ухо. Отец знал эти дороги как свои пять пальцев. И знал, что некоторые тропы лучше обходить стороной.

Но приказ есть приказ. Заозерье было впереди.

Григорий поднял взгляд. Сквозь редкий частокол стволов уже виднелась полоска расчищенной земли. Окраина деревни. Ни дымка над крышами. Ни огоньков. Ни лая собак.

Лёд тронулся у него под ложечкой.

— Эй, в деревне! — крикнул он, и голос его, обычно звонкий и уверенный, прозвучал чужим, съёжившимся, поглощённым мхом и хвоей.

Ответа не было.

Вихрь остановился как вкопанный перед первой избой, словно сама нечистая сила вдруг дёрнула его за невидимую узду. Изба, скособочившись, вцепилась в землю почерневшими венцами брёвен, будто из последних сил удерживаясь от падения в небытие.

Дверь, сорванная с одной петли, зияла распахнутой пастью — чёрный провал, из которого веяло не просто затхлостью пустого дома, а чем-то древним и тревожным. В воздухе витал тяжёлый запах: сладковато-гнилостный, с кислой нотой, точно где-то в недрах избы дотлевали забытые плоды, перебродившие в отравленное сусло. Он обволакивал, проникал в ноздри, оседал на языке противным привкусом покинутости, дошедшей до крайней точки, словно сам дух жилища испустил последний вздох и теперь тлел, как угасающий костёр в промозглом лесу.

Ветер, до того гонявший пыль по заброшенной улице, вдруг стих, словно побоялся переступить невидимую черту у порога. Лишь одинокий сухой лист, кружась, медленно опустился на порог, да где-то вдали протяжно вскрикнула птица — то ли ворона, то ли недоброе предзнаменование, посланное из сумрачных небес.

Григорий спешил, привязал повод к скрипучей колоде у забора. Рука сама легла на рукоять меча.

— Жди тут. Я схожу на разведку.

Он зашёл в первую избу.

Картина, представшая перед взором гонца, сковала его душу леденящим ужасом, словно сама Морана, богиня смерти и зимы, провела ледяной дланью по его спине.

Изба застыла в миг внезапной беды, застигнутая врасплох. Грубо сколоченный стол опрокинут, точно его с силой отшвырнули в сторону в порыве неистового гнева или слепого страха. Глиняные горшки, ещё вчера хранившие тепло домашнего очага, теперь лежали на полу осколками, треснувшие, расколотые, с острыми краями, поблескивающими в тусклом свете, пробивающимся сквозь мутное оконце.

Посреди этого хаоса, у самых ног гонца, валялась детская тряпичная кукла, некогда ласковая подружка игр, а теперь лишь жалкий комок ветоши. Одна пуговица-глаз сиротливо болталась на нитке, вторая же пропала без следа, казалось её вырвали в спешке. Кукла лежала навзничь, раскинув короткие ручки, как в безмолвном крике застыла.

На холодной печи, где прежде клубился пар от сытного обеда, стоял глиняный горшок. В нём ещё сохранились остатки каши, давно остывшей и забытой. Пушистая, разноцветная плесень покрыла её причудливым ковром: тут и изумрудная зелень, и сизый налёт, и бурые пятна, словно следы неведомых чернил. Она расплзлась по поверхности, пожирая последнее напоминание о мирной жизни.

Но что особенно тревожило душу — ни капли крови не виднелось на половицах, ни следов отчаянной борьбы. Ни опрокинутой лавки у стены, ни вырванных клочьев волос, ни отметин от оружия. Всё выглядело так, будто обитатели избы не были схвачены силой, они ушли сами. Или их увели. Тихо, беззвучно, в крошечной тишине, оставив после себя лишь этот жуткий отпечаток внезапного исчезновения, от которого сердце сжималось тоской и недобрым предчувствием.

Гриша нахмурился, озираясь вокруг, и тяжёлая тень недоумения легла на его лицо. И хмурость не сходила с его чела: когда, задержав дыхание, он оглядел застывший в безмолвии дом, и когда вышел наружу, вдыхая воздух, пропитанный предчувствием беды.

Он двинулся дальше, заглядывая в соседние избы. Одну за другой, надеясь отыскать хоть крупицу разгадки. Но везде открывалась одна и та же картина, будто сотканная из ночных кошмаров: в каждой избе время остановилось посреди будничной суеты, застыло в миг внезапного бегства.

В одной избе на лавке лежал недовязанный лапоть, рядом — клубок пеньковой нити, скатившийся к краю и замерший, будто в испуге. В другой — на столе стояла крынка с молоком, ещё не успевшим скиснуть, а рядом — нарезанный ломоть ржаного хлеба, так и остав-

шийся нетронутым. Возле печи валялась опрокинутая корзина с репой, несколько корнеплодов выкатились на пол, точно их отбросили в спешке. В третьей избе на гвозде у двери висела детская тужурка, а под ней — крошечные башмачки, поставленные ровно, как будто малыш вот-вот вернётся.

Люди испарились, оставив после себя обрывки жизни: недоделанное дело, недоеденный кусок, недосказанные слова. Бросили всё и побежали, ни спокойно, ни обдуманно, а в слепом ужасе, сжимая в кулаке лишь страх. Но куда? И от чего?

Вопросы клубились в голове Гриши, как туман над болотом, липкие, холодные, неотступные. В груди щемило от недоброго предчувствия: что-то древнее, забытое, но по-прежнему злобное коснулось этих мест. И оно не просто пронеслось мимо, оно забрало своих жертв, оставив лишь пустые избы да следы внезапного, необъяснимого исчезновения.

Последней была изба старосты, самая большая, с резными ставнями и коньком на крыше. Сердце Гриши колотилось так, что, казалось, сейчас вырвется наружу. Он толкнул дверь.

Хаос царил вокруг, словно вихрь незримой силы пронёсся по избе, оставив после себя следы спешного бегства. Опрокинутая лавка уткнулась ножками в половицы, будто в последнем издыхании. Разбросанная утварь валялась там и сям: глиняный ковш с отбитым краем, рассыпанные по полу сушёные травы, опрокинутый туесок, из которого выкатились сморщенные ягоды брусники, алые, как застывшие капли крови.

И посреди этого беспорядка стоял стол. Он стоял ровно, невозмутимо, как остров спокойствия в бушующем море хаоса. Его тёмные, отполированные поколениями рук доски явно хранили какую-то тайну, молчаливо противостоя всеобщему разрушению.

На столешнице, как бы нарочно выставленный напоказ, лежал кусок бересты. Не свёрнутый в трубочку, как обычно, хранят послания, а тщательно разглаженный, почти любовно припиленный к дереву ржавым обломком ножа. Края бересты слегка закручивались, словно пытались вернуться к природной форме, но остриё удерживало их на месте, пригвождая к дереву, как свидетельство чего-то важного.

Гриша замер на пороге, чувствуя, как по спине пробежал холодок. В воздухе повисло напряжение — не просто беспорядок, а нарочитая постановка: всё вокруг перевернуто вверх дном, а стол и береста оставлены в безупречном порядке. Кто-то хотел, чтобы это нашли. Кто-то ждал, что послание прочтут.

Григорий медленно подошёл.

В сумерках избы он не сразу разглядел, чем нанесены письмена. Он наклонился ближе. И тогда запах ударил в нос — медный, терпкий, знакомый по ранам и охоте.

Кровь.

Буквы были выведены коряво, торопливо, было видно, что писали не пером, а пальцем, обмакнутым в жизнь. Они словно корчились от боли на белой коре.

«ПРИШЕЛ ИЗ БОРА. ЗАБЕРЕТ ВСЕХ. СПАСИСЬ КТО МОЖЕТ. ВЕЗИ К КНЯЗЮ. НЕ СМОТРИ НАЗАД.»

Холодный пот струйкой скатился по спине гонца под одежду. Князю. Его князю. Эта... эта мерзость была адресована Ярославу. Рука сама потянулась взять бересту. В ту же секунду...
...воздух в избе содрогнулся.

Свет из дверного проёма вдруг померк, словно его заслонило чьё-то исполинское, незримое тело, будто сама тьма сгустилась, приняв очертания древней нечисти. Тени в углах зашевелились, ожили: вытянулись, зазмеились по стенам, задрожали, будто от немого шёпота. Они больше не были просто отсутствием света, они дышали, шевелились, тянулись к Григорию тонкими, когтистыми пальцами мрака.

Из щелей в полу, из-за печи, из самой древесины стен пополз холод, не зимний, колючий, а мёртвый, могильный. Он проникал под кожу, впивался в кости ледяными иглами, высасывал

тепло, волю, саму жизнь. Воздух, стал вязким, как болотная топь, и каждый вдох давался с трудом, будто лёгкие наполнялись не кислородом, а тяжёлым туманом забытых проклятий.

И он увидел их.

Прозрачные, как дым от сырых дров в печи на Русальной неделе, фигуры заполнили избу, мерцая в полумраке призрачным светом. Они не двигались, а застыли в миг своей последней муки, навеки прикованные к месту гибели.

Мужик в рабочей рубаше, изодранной и заляпанной чем-то тёмным, застыл в попытке прикрыть голову руками, точно над ним уже навис невидимый удар. Его лицо исказила гримаса отчаяния, а глаза, пустые и остекленевшие, смотрели сквозь Григория в какую-то иную, страшную реальность.

Рядом стояла баба, закутавшаяся в ветхий платок. Она прижимала его к груди, будто пытаясь укрыть что-то драгоценное, утраченное. Её беззвучный крик застыл на лице, губы разомкнуты, брови вскинуты в немом ужасе, а в глазах океан невыплаканных слёз и безысходности.

А впереди, прямо напротив Григория, стояла девочка лет семи, та самая, что потеряла куклу. Она смотрела на него не как призрак, а как живой человек: огромные, полные слёз глаза были живыми, полными такой бездонной мольбы и предостережения, что у него перехватило дыхание.

Она сделала шаг вперёд, не скользила, как прочие духи, а именно шагнула, оставив на пыльном полу едва заметный след. И в этот миг Григорий почувствовал, как что-то внутри него сжалось. Воздух затрещал, как перед грозой, тени за спиной призраков сгустились в нечто большее, тёмное, злое, наблюдающее. Оно ждало. Оно следило.

«Уходи», — кричал взгляд девочки. — «Беги. Он идёт».

А потом... звук. Не снаружи. Внутри его черепа.

Тяжёлый, влажный вздох, полный древней, ненасытной тоски. И шёпот, наложенный в три глотки — детский, женский и старческий одновременно:

«Гри-го-рий... помоги нам... отпусти нас...»

Видение лопнуло, как мыльный пузырь. Изба снова была пуста. Только запах крови с бересты и всепроникающий холод.

Сердце Гриши выскакивало из груди. Инстинкт, древний и неоспоримый, кричал одним словом: БЕГИ!

Он вырвал обломок ножа, удерживающий бересту, судорожно схватил её. Кора была ледяной и... влажной, будто кровь ещё не высохла. Запихал её в сумку рядом с обычной грамотой, ощущая, как они лежат там вместе — будничное и кошмарное.

Гриша выскочил на улицу. Вихрь бился у привязи, глаза закатились так, что видны были белки, из ноздрей шёл пар частыми, прерывистыми клубами.

— Вихрь! ДЕРЖИ! — Григорий вскочил в седло, не отвязывая, одним резким движением перерезав повод ножом.

И они рванули.

Не по дороге. Прямоком через Чёрный Бор, туда, где сквозь деревья угадывался тусклый свет открытого пространства, там раскинулось болото с мостом через топь. Черноборск был за ней.

За спиной что-то поднялось, незримое, древнее, пробудившееся от векового сна. Григорий не видел его, но кожей, каждым волоском на затылке ощущал давящую тяжесть, словно на плечи ему навалилась каменная плита с языческими рунами. Это был не просто взгляд, это был взгляд, пронизывающий до костей, оценивающий, предвкушающий.

Воздух сгустился, как кисель на святочном пиру, вязкий и душный, пропитанный запахом прелой листвы и чего-то затхлого, забытого, погребённого под корнями старых дубов.

Каждое движение коня давалось с нечеловеческим усилием: он ржал, мотал головой, копыта вязли в земле, точно та вдруг ожила и пыталась удержать их на месте.

Деревья вокруг заскрипели, застонали на разные голоса, не просто скрип сухих сучьев, а жалобный стон, будто предупреждали об опасности. Ветви изгибались, тянулись к путнику, как костлявые пальцы древних ведунов, пытающиеся ухватить, задержать, утащить в чащу. Ель клонилась, царапая небо своими иглами, берёза склонялась, шелестя листьями, точно шепчущими проклятия.

А потом слышались шаги.

Не конские. Не человеческие.

Что-то огромное, тяжеловесное, неуклюжее двигалось за ними, не шагало, не шло, а передвигалось, ломая молодые сосны, как тростинки, вдавливая их в землю с хрустом, от которого кровь стыла в жилах. Каждый шаг сотрясал землю, заставляя дрожать мох и осыпаться хвоей с елей.

И дышало оно, громко, шумно, с хрипом и присвистом, будто в груди у того, кто шёл, булькала гнилая вода, перемешанная с болотной тиной и тленом веков. Этот звук проникал в сознание, отзывался болью в висках, заставлял сердце биться неровно, сбиваясь с ритма.

Не смотри назад. Не смотри назад. Не смотри...

Он оглянулся.

Между стволами, в сотне шагов, в гуще тумана, плывшего по земле, стояло...

Не тело. Силуэт. Высокий, до верхушки сосен, невероятно худой. И две точки в том месте, где должна быть голова. Две ямочки тусклого, болотного света, как гнилушки, светящиеся в темноте. Они смотрели на него. Видели его.

«Признал...» — мелькнуло в ошпаренном ужасом мозгу.

Вихрь, почуяв то же, что и его седок, издал почти человеческий крик ужаса и рванул вперёд с такой силой, что Гришу откинуло назад. Они неслись, слепые от страха, к обещанию спасения, к хлипкому мостику через черную воду.

И пока они мчались, Григорий чувствовал, как та береста в сумке у его пояса... пульсирует.

Тусклым, зеленым светом, в такт бешеному стуку его сердца.

Будто живое, больное сердце самого Чёрного Бора теперь ехало с ним.

К князю.

Глава 2. Цена переправы

Они выбрались из лесной чащи, но не из её власти. Перед ними расстилалось обширное, серое, слепое пространство, Русаличья топь. Вода, затянутая ряской и туманом, уходила в серую муть горизонта. Воздух пах гниющими водорослями, тленом и железом, будто кто-то точил гигантский нож под водой.

Тишина, наступившая после безумной скачки, была хуже любого шума. Она была густой, липкой, как смола, заливающая уши. Григорий, наконец, ослабил поводья, позволив Вихрю перейти на тяжелую рысь. Адреналин отступал, обнажая тело, избитое усталостью, а душу, высокoblенную до дна страхом.

И посреди этой топи возвышался хлипкий, почерневший от времени мост. Не строение, а насмешка над дорогой. Несколько жердей, перекинутых с одного шаткого устоя на другой, скреплённых гнилой верёвкой. Перекладыны прогнулись, некоторые отсутствовали вовсе, оставляя чёрные провалы в молочно-белую пустоту.

— Вот и переправа, брат, — прохрипел Григорий, и его голос прозвучал неестественно громко в этой мёртвой тиши.

Вихрь остановился, упершись. Его могучие ноги дрожали мелкой дрожью. Конь фыркнул, закатил глаза, показав белки. Он чуял. Он чуял то, чего не видел его всадник.

Оно не исчезло.

Оно отступило лишь на шаг. Здесь, на границе воды и суши, царил иной закон. И Гриша, сжимая в потной ладони уздечку, вдруг ясно осознал: мост — не спасение. Это — ловушка. Бутылочное горлышко, где они будут как на ладони.

«Нельзя, Гришанька, поворачивать назад», — сказал он себе голосом отца. «Если победишь — сожрёт».

Он спешил. Ноги почти подкосились. Каждая мышца кричала от перенапряжения. Гриша взял Вихря под уздцы, погладил влажную, дрожащую шею.

— Слушай меня, друг. Только вперёд. Только вперёд, слышишь? Шаг за шагом. Я с тобой.

Он ступил на первую доску. Древесина прогнулась с жалобным скрипом, и снизу, из тумана, донёлся тихий, мокрый чмокающий звук, будто что-то большое перевернулось в грязи.

Шаг. Ещё шаг. Каждая доска была испытанием. Они скрипели не от веса, а точно от прикосновения, оскверняющего их древний покой. Туман, неподвижный до этого, начал шевелиться. Не колыхаться от ветра, ветер стих. Он сгушался. У берегов стали проявляться странные очертания: тощие, измождённые руки из водорослей, пустые глазницы кочек, похожих на черепа.

А потом заговорила вода.

Сначала это был шёпот. Тот самый, из леса, но теперь он исходил со всех сторон, из самой толщи болота. Невнятное бормотание, ползучее, как тина. Потом в нём проступили слова.

«...зачем забрал... оставь это нам... глаза... не видно, ничего не видно...»

Голоса были знакомыми. Обрывки смеха деревенских ребятишек. Ворчание старухи-повитухи. Пение девушки у ручья, той самой, с глазами полными ужаса.

— Это не они, — скрипом выдавил из себя Григорий, впиваясь пальцами в поводья Вихря. — Это Оно. Не слушай.

Но голоса крепи, накладывались друг на друга, превращаясь в леденящий душу хор.

«Гри-го-рий... Гри-го-рий... Оглянись... посмотри, на нас... у тебя же есть глаза...»

Они были на середине моста. Самое уязвимое место. И тут Вихрь взвыл. Не ржанье испуганного коня, а полный, животный вопль ужаса. Григорий обернулся.

Туман позади них вдруг сомкнулся, сгустился в высокую, почти непроницаемую стену, чёрную, как смола, стекающая с коры древнего дуба. Она встала на пути, отрезая дорогу назад, будто сама Мать-Сыра-Земля воздвигла преграду, предупреждая: назад пути нет.

И в этой стене, в самой её глубине, зажглись две точки. Не яркие, не живые, как светляки в летнем лесу, а тусклые, мутные, словно гнилушки, тлеющие в темноте. Они не мерцали игриво, они смотрели. В них не было ярости, не было гнева, только бесконечный, всепоглощающий голод, древний и равнодушный, как сама тьма, что родилась до первых рассветов мира.

Вихрь фыркнул, захрапел, переступил с ноги на ногу, конь чуял недоброе, его ноздри трепетали, улавливая запах чего-то чуждого, запретного. Доски под его копытами зашевелились, не скрипнули, не треснули, а задышали, будто под ними билось сердце неведомого существа.

Нет, не сами доски ожили. Что-то под ними, тёмное и вязкое, полезло вверх, просачиваясь сквозь щели, как смола из раны дерева. Это была не вода, ни грязь, ни болотная жижа, а сгустившаяся тень, холод, принявший форму ползучих щупалец. Они скользили, извивались, поднимались всё выше, оплетая ноги коня не грубой силой, а обманчиво ласковым объятием, ледяным прикосновением, от которого немела плоть, костенел разум, а в груди зарождалась первобытная, животная тоска.

— ВПЕРЁД! — закричал Григорий, из последних сил дёргая за узду.

Вихрь рванулся, но скользкая тень уже держала его. Конь споткнулся, и острый, сломанный шип доски с хрустом вонзился ему в ногу, выше копыта. Новый, жгуче живой взрыв боли пронзил животное. Вихрь заржал, отчаянно и страшно.

Щупальца холода поползли выше, обвивая голени Гриши, пробираясь под полы кафтана, как живые змеи, сотканые из зимней полуночи. Он чувствовал, как сапоги примерзают к рассохшимся доскам настила, не просто прилипают, а сплавляются с ними в единое целое, сковывая движения железной волей тьмы.

Леденилось дыхание в лёгких, каждый вдох давался всё тяжелее, точно воздух сгустился в колючую изморозь. В груди закололо, словно туда загнали тонкие иглы инея, а кончики пальцев на руках онемели, потеряв всякую чувствительность. Кожа покрылась мурашками, волосы на затылке встали дыбом, всё существо кричало об опасности, древней и неумолимой.

А голоса стали ясными, чёткими как нож.

Идея была чудовищно логичной. Швырнуть эту ужасную, пульсирующую бересту в болото. Избавиться от неё. Спасти себя и Вихря.

Рука судорожно потянулась к сумке. Пальцы нащупали край бересты. Она была горячее. Не теплой, а обжигающе горячей, как уголёк, и при этом от неё веяло таким холодом, что кожа немела.

«Да... отдай...» — прошелестел туман.

И в этот миг перед его внутренним взором снова возникла она. Девочка из видения. Её лицо было искажено не криком, а безмерной печалью. Она смотрела прямо на него и медленно, очень медленно, покачала головой.

Нельзя.

Это не было словом. Это было знанием, вспыхнувшим в мозгу гонца, как вспышка молнии.

Оно найдёт другой путь. Хуже. Сильнее. Ты теперь везешь не просто весть. Ключ. Не отпускай ключ.

Григорий зарычал, стиснув зубы от боли и ужаса, и с силой, рождённой чистым отчаянием, рванул бересту из сумки, но не, чтобы выбросить, а, чтобы прижать к груди, сунуть за пазуху, прямо к сердцу.

— НЕТ! — прокричал он в лицо туману, точкам гнилушкам, всему этому болотному кошмару. — Мой долг — донести! Ты меня не получишь!

И случилось нечто.

Береста на его груди вспыхнула короткой, зеленой вспышкой. Свет был не ярким, но он резал туман как нож. Тенистые щупальца вздрогнули и отшатнулись, как обожжённые. Раздался звук, невыразимо древний и злой, похожий на шипение раскалённого железа, опущенного в воду.

Стена тумана дрогнула. Точки гнилушки мигнули и начали отдаляться, таять, растворяться в серой мгле.

Мост перестал шевелиться. Давление спало.

Григорий, не помня себя от изнеможения и лихорадочной спешки, почти потащил за собой Вихря. Конь сильно хромал, видно было, как он поджимает левую переднюю ногу, будто каждый шаг пронзает её острой болью. Но он шёл, упрямо переставляя копыта, повинаясь не столько поводу, сколько железной воле хозяина, преодолевая страдания, словно понимал: остановиться — значит погибнуть.

Последние доски ветхого моста затрещали под копытами, прогибаясь, готовые вот-вот обломиться и рухнуть в тёмную трясину внизу. Григорий почувствовал, как под ногами вместо дрожащих, гнилых досок наконец-то твёрдая земля, плотная, надёжная, живая. Они были на другом берегу.

Силы разом оставили его. Ноги подкосились, и Гриша рухнул на колени прямо в сырую траву, покрытую росой и клочьями мха. Грудь ходила ходуном, дыхание вырывалось рваными хрипами. Он давился сухими, тяжёлыми рыданиями, не слезами, нет, а спазмами полного истощения, когда тело уже не может больше, но душа всё ещё держится, цепляется за жизнь.

Вихрь, тяжело дыша, подошёл вплотную, опустил голову и ткнулся тёплой, влажной мордой в его плечо. От коня пахло потом, конским духом, землёй и едва уловимо — страхом, который он так мужественно пересилил. Тихое, хриплое ржание прозвучало почти как слово утешения, как молчаливое: «Мы сделали это».

Григорий обернулся.

Мост стоял, как ни в чём не бывало. Тихий, ветхий, безмолвный. Туман над Русаличьею топью был спокоен и безобиден. Как будто ничего и не было.

Но было. Трава вокруг них, на твердом берегу, была покрыта инеем. Мелким, колючим, синеватым. И стояла мертвая, предвзвешенная тишина. Лягушки не квакали. Комары не звенели. Жизнь здесь замерла.

Княжеский гонец посмотрел на ногу Вихря. Рана была неглубокой, но края её посинели, будто бы от мороза, а не от укола. И из неё сочилась не алая кровь, а тёмная, почти чёрная сукровица.

Гриша поднялся. Выпрямил спину, чувствуя каждую мышцу, каждую кость. В груди, под одеждой, береста остыла, вернувшись к своей ледяной, мертвенной температуре. Но в ней теперь чувствовалась тяжесть. Тяжесть сделанного выбора.

Он поглядел вдаль, поверх болота, туда, где на холме уже ясно виднелись частокол и сторожевые вышки Черноборска. Огни сигнальных костров казались жёлтыми, тёплыми точками. Приют. Безопасность. Конец пути.

Но Григорий больше не видел спасения. Он видел цель. И понимал, что везёт к ней не просто донесение. Он везёт инфекцию. Знамение. Вызов.

Он погладил Вихря по шее, собрав в кулак всю свою волю.

— Потерпи, друг. Совсем немного. Надо предупредить.

Они двинулись по дороге к воротам, оставляя за спиной иней и молчание, которые, казалось, ждали, не отступят ли они назад. Но они не отступали.

Гонец нёс свою весть. И цена за эту переправу уже была заплачена, страхом, кровью и ледяным ожогом на сердце.

Глава 3. Княжьи Врата

Трава под ногами всё ещё хрустела ледяным инеем, хотя от крепостных стен Черноборска уже тянуло дымом очагов, запахом томлёного мяса, свежего хлеба и людским гулом — звуками жизни, которая казалась Грише теперь чужой и призрачной.

Ворота были тяжёлыми, массивными, из вековых дубовых досок, скреплённых толстыми полосами железа. Металл почернел от сырости и времени, покрылся узорчатой ржавчиной, словно древними рунами, начертанными самой природой. В щели между досками пробивались тонкие нити серого мха, а у основания створок скопилась груда опавших ещё с прошлого года листьев, будто бы сама осень пряталась здесь от лета.

Над воротами, на вышке с резными зубцами, замерли двое стражников. Их фигуры чётко вырисовывались на фоне хмурого неба, затянутого свинцовыми тучами. Доспехи, хоть и потёртые в битвах, выглядели добротными: кольчуги с медными заклёпками, наплечники, украшенные изображениями волчьих голов, знак местного воеводы Ратши. На поясах висели короткие мечи в кожаных ножнах, а руки сжимали луки с наложенными стрелами.

Увидев одинокого всадника, устало ковыляющего к стенам, стражники насторожились. Один из них, постарше, с сединой в бороде и шрамом через левую бровь, чуть приподнял лук, оценивающе прищурившись. Второй, помоложе, с напряжённым лицом и сжатыми губами, последовал его примеру, тетива тихо заскрипела натягиваясь.

— Стой! Кто идёт? — раздался окрик, резкий и деловой, усиленный эхом меж каменных стен. Голос звучал твёрдо, без угрозы, но и без приветливости, так говорят те, кто привык встречать на дорогах не путников, а опасности.

Голос был таким обыденным, что Гриша на миг растерялся. Ему казалось, что из его горла должен вырваться нечеловеческий крик, предупреждающий об опасности. Но он лишь сильнее вцепился в гриву Вихря.

— Гонец княжий! — прокричал он, и звук вышел сиплым, надтреснутым. — Григорий, Васильев сын! Срочная весть к князю Ярославу!

Стражники переглянулись. Один, что был помоложе, прищурился.

— Васильев? Ты что ли? Лик-то на тебе нездешний... И конь твой...

— Мешкать некогда! — перебил Гриша, и в его голосе впервые зазвучали нотки той команды, которой он научился, служа отцу. Он поднял руку, показывая на княжеский терем, видневшийся над частоколом. — Весть из Заозерья. Из Чёрного Бора. Пропустите!

Слова «из Чёрного Бора» подействовали как щелчок кнута. Лица стражников вытянулись. Старший, бородатый, кивнул.

— Пропустить! К писарю в сени! — И, уже обращаясь к Грише, добавил тише, с непонятной смесью страха и любопытства: — Иди, Григорий. Вид у тебя... нехороший.

Ворота с тяжёлым скрипом отворили ровно настолько, чтобы пропустить всадника.

И Гриша въехал в Черноборск.

Контраст оглушил, словно удар колокольного звона в рассветный час. После гнетущей тишины болот и глухого леса, где лишь изредка вскрикивала болотная птица да шелестели камыши, его встретила буйная какофония жизни, яркая, шумная.

У въезда в поселение толпились люди. Резвые торговки, раскрасневшиеся от летнего зноя и собственного задора, зазывали покупателей зычными голосами:

— Пирогі горячие, с малиной да с брусникой! Кому пироги, к обеду в радость, к вечеру в сладость!

— Лён добрый, ровный, не рвётся! Для рубахи, для скатерти, всё у нас найдётся!

Где-то неподалёку, за поворотом, мерно стучали топоры из кузницы — тук-тук, тук-тук — в такт кузнечным мехам, а в ответ им звенела сталь, будто сама земля напевала древнюю

песню труда. По пыльной улице, поднимая клубы золотистой пыли, гоняли обруч ребяташки, звонко смеялись, кричали, спорили, кто дальше прокатит деревянное колесо. Их босые ноги мелькали среди пучков полыни и подорожника, пробившегося сквозь трещины в земле.

У старой часовни, увитой диким хмелем, протяжно пел нищий слепец. Голос его, низкий и печальный, плыл над улицей, смешиваясь с другими звуками:

«Ой, да не ветры веют буйные,
Не дубравы шепчут тёмные...
А судьба моя — дальняя дорога,
Да слеза горька, да доля строга...»

Воздух был тёпл, насыщен запахами, что сплетались в единый летний дух: аромат свежее испечённого хлеба из ближней пекарни, сладковатый дымок от жаровни с пряными травами, терпкий дёготь от колёс телег, конский навоз, смешанный с пылью, и лёгкий, едва уловимый запах человеческого пота, живой, тёплый, настоящий.

Солнце, пробиваясь сквозь лёгкую дымку, заливало всё вокруг золотистым светом. Оно ярко освещало резные наличники на избах, причудливые узоры, вырезанные искусной рукой: завитки, птицы, солнечные колёса. Пестрые сарафаны торговков вспыхивали алыми, лазурными, изумрудными красками, словно цветы на лугу. А в канавах по краям улицы блестели лужи после недавнего дождя, в них отражались облака, крыши, ветви яблонь, и казалось, сама земля хранит в себе осколки небесного зеркала.

Гриша остановился зажмурившись. Ему было физически больно от этого шума и цвета. Он чувствовал себя слепым щенком, вытащенным из тёмной норы на яркий свет. И под грубой рубахой, прямо у сердца, береста отозвалась тупой, холодной пульсацией, будто напоминая: ты здесь чужой. Ты принёс сюда меня.

«Сначала Вихрь», — прошептал он себе, стиснув зубы.

Конюшни княжеского двора стояли в стороне, у восточной стены. Запах сена и навозной жижи был знакомым, почти успокаивающим. Но взгляд старого конюха, к которому Гриша подвёл хромающего Вихря, стал каменным, едва тот увидел рану.

— Э-э-э, парень... Это что ж такое? — Конюх, коренастый мужчина по имени Тит, осторожно присел, не касаясь ноги коня. — Кололся, говоришь? Такого от колода не бывает. Края... синие. И запах... — Он понюхал воздух и сморщился. — Тьфу! Словно морозом из глубины земли потянуло. Не к добру это.

— Нужен знахарь? — просто спросил Гриша.

Тит исподлобья посмотрел на него, потом кивнул в сторону дальнего конца посада, где избы жались к самой стене, почти к лесу.

— Чаровлада ищи. Старик, что у Старой Ели живёт. Ты про него, наверное, слыхивал. Он... к такому делу руки имеет. Но смотри, попов-то стороной обойди. Не жалуют они его.

Дорога к Старой Ели вилась среди высоких ромашек и колокольчиков, шуршала под копытами Вихря сухой травой, пахла нагретой солнцем полынью и мёдом диких пчёл. Вдалеке, за поворотом, показалась новая церквушка, ещё молодая, не успевшая постареть под дождями и ветрами. Бревна, свежесрубленные, блестели янтарными потеками смолы, а кресты на куполах отливали медью в лучах полуденного солнца. Пахло смолой и ладаном, тонкий, сладковатый аромат смешивался с летним духом лугов.

У крыльца, на каменных ступенях, в тени резного козырька, стоял отец Серафим. Одет он был в чёрное как вороново крыло одеяние, ткань ложилась строгими складками, не шелохнувшись даже от лёгкого ветерка. Греческий монах был не стар годами, но суровость жизни и аскеза заострили его черты: скулы выступили резче, вокруг глаз залегли глубокие тени, а губы сжались в тонкую линию, превратив лицо в аскетичную маску,

Его тёмные глаза, холодные и пронизательные, уставились на Гришу, как два буравчика, точно пытались просверлить душу, добраться до самых потаённых мыслей. Взор был непо-

движен, лишён приветливости, но и не враждебен, скорее изучающий, взвешивающий, оценивающий. Длинные пальцы правой руки перебирали чётки, чёрные, гладкие, отполированные годами молитв; бусины тихо постукивали, отсчитывая мгновения тишины.

Вихрь фыркнул, переступая с ноги на ногу, почуяв напряжение в воздухе. Григорий невольно выпрямился, ощутив на себе этот тяжёлый взгляд. Лето вокруг жило своей жизнью: стрекотали кузнечики в траве, где-то вдали звенел голос жаворонка, ветер шевелил макушки елей. Но здесь, у крыльца церкви, время замерло, только стук чёток да взгляд Серафима, холодный и острый как клинок.

— Гонец, — прошептал поп, и его тонкие губы изогнулись в подобие улыбки, в которой не было ни капли тепла. — С сумой пустой не ездят. Вести несёшь?

Гриша лишь кивнул, стараясь обойти его стороной.

— Вести. Князю.

— Откуда-вести-то? — голос Серафима стал сладковато-вязким как патока.

— Из Чёрного Бора, — буркнул Гриша, уже ненавидя этот вопрос.

Лицо попа исказилось едва заметной гримасой отвращения и... интереса.

— Из тёмных мест. Осторожнее, сын мой. Иногда весть, как уголь в руках. Не сожгись.

Гриша не ответил, ускорив шаг. Он чувствовал на спине тяжёлый, неотступный взгляд, который, казалось, пытался проникнуть сквозь кожу и ткань, чтобы увидеть спрятанное в сумке.

Изба Чаровлада стояла под сенью огромной, полузасохшей ели, древнего дерева, что видело не одно поколение людей. Её искривлённые корни, толстые и узловатые, как каменные пальцы великана, выпирали из земли, впивались в неё с упорством чего-то живого, не желающего сдаваться времени. Ветви ели, редкие и сухие в верхней части, ниже покрывались тёмно-зелёной хвоей, создавая над избой сумрачный шатёр.

Казалось дом вырос из самого леса, не построен, а пробуждён к жизни древними силами. Низкий, приземистый, он почти сливался с окружающей чащей. Стены, сложенные из потемневших от дождей брёвен, обросли бархатным мхом в тени северной стороны. Крыша из бересты и дранки местами проросла пучками травы, а по углам свисали седые пряди лишайника, будто сама природа пыталась укутать избу в свои покровы. Маленькие окошки, затянутые бычьим пузырём, напоминали глаза древнего существа, следящего за лесом.

Воздух вокруг пропах дымом полыни, горьковатым, очищающим, сушёным кореньем и травами, развешанными под крышей. К этому примешивался ещё один запах, древний, земляной, точно здесь, у корней старой ели, сама Мать-Сыра-Земля дышала вековой мудростью. Где-то рядом журчал невидимый родник, и его свежесть разбавляла густую летнюю духоту.

Скрипнула дверь, тихо, но отчётливо, как бы предупреждая о чём-то. На порог вышел старик. Он был высок и сух, как лесной посох, что веками стоит в глуши, впитывая силу земли и неба. Длинные седые волосы и борода сливались в одно серебристое облако, окутывающее плечи, а из этой пелены горели два пронзительных глаза цвета старого мёда, удивительно молодые, ясные, с живым, острым блеском, будто в них теплился внутренний огонь.

Старик молча осмотрел Гришу с головы до ног, взгляд его, цепкий и внимательный, задержался на измятой одежде, на дорожной пыли на сапогах, на рукояти меча у пояса. Потом перевёл взор на Вихря.

— Приведи ближе, — сказал он голосом, похожим на шелест сухих листьев.

Чаровлад велел Грише держать коня, а сам принялся осматривать рану. Его длинные, узловатые пальцы двигались легко, почти не касаясь плоти. Он принюхался к тёмной сукровице, потрогал синеву вокруг раны, потом закрыл глаза, положив ладонь чуть выше копыта.

Помолчал долго.

— Не железо это резало, — наконец изрёк он, открыв глаза. В них плескалось понимание, граничащее с тревогой. — И не зверь. Это холод резал. Холод из такого места, где нет ни

солнца, ни луны, только вечный лёд на душе. Конь твой ступил туда, куда живым ступить не след. И место это за ним... прилипло.

— Можно вылечить? — спросил Гриша, и в голосе его дрогнуло.

Чаровлад посмотрел на него, и взгляд его стал тяжёлым, испытующим.

— Можно попытаться. Но плата будет. Не серебром.

Он повернулся, сделал гонцу знак следовать за ним. Григорий бросил повод коня на жердь и пошел в избу за волхвом.

Внутри избы было темно и прохладно. На полках сушились пучки трав, висели связки лука, чеснока, корешки причудливой формы. Оказавшись здесь, старик начал рыться в кованом сундуке.

— Ты принёс сюда не только рану на коне, парень. Ты принёс что-то ещё. Что-то, что дышит холодом и старой злобой. Оно у тебя в сумке. Или на сердце.

Гриша похолодел. Он молчал.

— Ладно, не говори, — махнул рукой целитель. — Сперва дело. — Он достал из сундука горсть серого пепла, пучок засушенного папоротника и маленький глиняный горшочек с мёдом, тёмным как ночь. — Пепел от огня, что жгли в ночь на Купалу. Папоротник, что видел, как цветут невидимые цветы. Мёд диких пчёл, что носятся меж миров. Будем лечить не тело, а душу раны.

Он начал бормотать что-то под нос, слова странные, гортанные, рокочущие, не похожие ни на славянскую речь, ни на греческую, ни на какой-либо иной язык, слышанный Гришей. Звуки лились неровно, то нарастая, как шум горной реки, то затихая до шёпота, будто сам воздух прислушивался к этим заклинаниям.

Чаровлад двигался плавно, но уверенно, словно исполнял древний танец, известный лишь хранителям забытых знаний. Он открывал потрёпанные мешочки из грубой холстины и кожи, висающие на стенках сундука, и бросал в глиняную плошку горсти сушёных трав. Пальцы его, узловатые и тёмные от времени, ловко отмеряли щепотки: тут — серебристую полынь, там — скрученные нити зверобоя, щепотку багульника, крупинки чего-то чёрного, похожего на пепел старых костров.

Старик подходил к полкам, встроенным в бревенчатые стены избы, и брал оттуда нужные снадобья — то смолистый корешок, то пучок перьевидных листьев папоротника, то засушенные ягоды, чёрные и сморщенные, как глаза древних духов. Всё это он смешивал на старом дубовом столе, покрытом сетью царапин от ножей и лезвий, отметинами веков и тайн. Время от времени Чаровлад подогревал смесь над слабым пламенем лучины, дым поднимался тонкими струйками, вился кольцами, наполняя избу ароматами, от которых кружилась голова: терпкий дух можжевельника, горьковатая полынь, сладковатый чабрец и что-то ещё, древнее, забытое, напоминающее о лесах, где ещё помнят имена духов.

Гриша наблюдал за этой картиной как заворожённый. Он ничего не понимал в этих действиях, но странные запахи и таинственные движения старика пробуждали в нём что-то глубинное, дремавшее в крови многих поколений. В груди поднимались одновременно страх и благоговение перед неизвестным, как у ребёнка, впервые увидевшего ночной обряд у костра, когда ведун вызывает духов предков.

Наконец знахарь закончил свой обряд. Он бережно пересыпал получившийся пепел в маленький кожаный мешочек, прошептал ещё несколько слов, на этот раз едва слышно, почти беззвучно, и аккуратно завязал горловину шнурком.

Они вместе вернулись к коню. Чаровлад осторожно посыпал рану Вихря сероватым пеплом, затем взял растёртый папоротник и другие травы, смешанные с душистым липовым мёдом, и бережно втёр состав в кожу вокруг повреждения. Скакун вздрогнул, мышцы на шее напряглись, но он не заржал, не отпрянул. Напротив, его дыхание стало ровнее, а в глазах, полных боли, мелькнуло что-то похожее на облегчение: будто холод, терзавший рану, на миг

отступил перед теплом этого странного обряда, перед силой слов, что веками передавались от ведуна к ведуну.

— Теперь, — сказал Чаровлад, завязывая тряпицей ногу коня, — слушай. Рана может затянуться. А может и нет. Это зависит не от моих трав, а от того, уйдёт ли оно само. А уйдёт оно, только если уйдёт то, что ты принёс. Понимаешь?

Гриша кивнул, сжимая край сумки. Береста под пальцами была ледяной.

— Спасибо, дед.

— Не благодари рано, — проворчал Чаровлад. — Иди к своему князю, коня пока у меня оставь, я присмотрю. Но помни: камень, брошенный в болото, круги расходиться заставляет. Твои круги только начались.

Теперь Гриша мог спокойно отправиться с донесением к князю. Путь к княжескому двору вёл мимо яблонь, усыпанных бело-розовыми цветами, их сладкий аромат смешивался с запахом свежескошенной травы и дымка от кухонных печей.

Княжеский терем встретил же его особым духом старины: пахло тёплым воском от оплывших свечей, дублёной кожей доспехов и влажным деревом, могучими дубовыми брёвнами, что веками хранили тепло и тайны рода Мшарынских. Тяжёлые двери, украшенные резьбой с изображениями зверей и растений, скрипнули, впуская гонца в святая святых.

В гриднице царил полумрак, свет проникал через узкие окна-бойницы, пробиваясь тонкими золотистыми лучами, в которых танцевали пылинки. На стенах висели щиты с родовыми знаками, мечи в узорчатых ножнах, медвежьи и волчьи шкуры. В воздухе витала атмосфера власти, вековых решений и незримого напряжения, казалось комната помнила все клятвы и заговоры, произнесённые под её сводами.

На резном деревянном кресле, украшенном изображениями дубовых ветвей, сидел Ярослав Мшарынский. Князь был не стар, лет тридцати, может, чуть больше, но власть, бремя ответственности и ночные думы уже оставили след: тонкие морщины собрались у глаз, а у рта залегла жёсткая складка, выдающая привычку принимать непростые решения.

Волосы его, русые, как гречишный мёд на летнем солнце, были подстрижены по-военному, открывая высокий лоб. Одет Ярослав был просто, но дорого: льняная рубаха с тонкой вышивкой по вороту и рукавам, подпоясанная кожаным ремнём с серебряными накладками. На пальце блестел перстень, массивный, серебряный, с изображением могучего дуба, корнями уходящего в землю, ветвями касающегося небес: герб Мшарынских, символ стойкости и связи с родной землёй.

Рядом с князем, чуть поодаль, стоял отец Серафим, чёрный и недвижимый, как тень, отбрасываемая древним дубом в полдень. Его одеяние, не шелохнулось даже от лёгкого сквозняка, что пробежал по гриднице. Взгляд монаха был опущен, но Гриша почувствовал, что тот замечает всё, каждый жест, каждый вздох.

У стены на широких лавках сидели несколько бояр. Лица их были выразительны: в глазах читались и любопытство, и настороженность, и затаённая хитрость. Кто-то теребил бороду, кто-то нервно постукивал пальцами по рукояти ножа, кто-то исподтишка бросал взгляды на Серафима и князя.

Ярослав поднял глаза на Гришу. Взгляд его был острым, цепким, будто князь уже знал, какие вести принёс гонец, и готовился к удару.

Гриша, приведённый писарем, сделал шаг вперёд, перекрестился на Красный Угол и сняв шапку сделал вежливый поклон.

— Княже. Гонец Григорий, Васильев сын, вернулся. С вестями из Заозерья. — Прогнул писарь.

— Говори, Гриша, — голос Ярослава был ровным, но в нём слышалась усталость. — Говори. Отвёз ли весть в Заозерье? Что староста сказывал? Что сам видел?

Гриша чувствовал на себе взгляд Серафима, жгучий, как раскалённое железо.

— Заозерье... пусто, княже. Людей нет. Следов борьбы — нет. Избы брошены, будто все разом в поле вышли да не вернулись. Потому, грамоту которую, вёз старосте не смог вручить, с тем и возвращаю. — Он делал паузу, достал из сумки обычную, берестяную грамоту, с княжеской тамгой. Писарь принял её, подал Ярославу. Тот бегло просмотрел, отложил в сторону. Его взгляд не отрывался от Гриши.

— И только? — спросил князь.

— Нашёл я в избе старосты... другую грамоту. — Гриша вынул вторую, залитую бурой, запёкшейся субстанцией бересту. В полумраке зала она казалась чёрным пятном. В воздухе повисло молчание. — Она... на столе лежала. Написана кровью.

Шёпот пробежал по боярам. Серафим выпрямился, его глаза сузились.

— Что на ней? — Ярослав, не моргнув глазом протянул руку.

Гриша подал ему бересту. Князь взял её, не глядя, развернул. Его пальцы коснулись кровавых знаков. На миг ему показалось, что они... тёплые. Он начал читать про себя, и с каждым словом лицо его становилось всё более каменным, непроницаемым. Брови сошлись в одну тугую линию. Он дочитал, поднял голову. Взгляд его встретился с Гришиным.

— «Пришёл из Бора. Заберёт всех. Спасись кто может. Вези к князю. Не смотри назад», — вслух, отчеканивая каждое слово, произнёс Ярослав. В зале стало тихо, как в гробу. — Больше ничего не нашёл? Никого не видел?

Гриша снова почувствовал жгучий взгляд попа. Он видел перед собой лица из видений, искажённые ужасом, немые. Но сказал:

— Нет, княже. Ничего. Только тишина.

Ярослав медленно кивнул. Он свернул кровавую бересту, положил её рядом с собой.

— Ясно. Ты сделал своё дело, Григорий. Устал, голоден. Иди, отдохни. Мы... подумаем над этой вестью.

Аудиенция была окончена. Бояре, перешёптываясь, стали расходиться. Серафим, бросив на Гришу последний, долгий взгляд, молча вышел вслед за ними. Гриша повернулся, чтобы уйти, чувствуя странную пустоту и обманчивую лёгкость, словно он сбросил камень, но на сердце осталась тяжесть.

Его догнал на пороге молодой слуга князя.

— Григорий Васильевич. Князь просит тебя к себе в палаты. Тайно.

Сердце Гриши ёкнуло.

Личные покои Ярослава были не большими, но вполне уютны и по-мужски аскетичны: сундук, стол с картами, оружие на стене. В боковой стене двери ведущие в другие светлицы. Князь стоял у узкого окна, глядя в сторону Чёрного Бора. В руке он сжимал ту самую бересту.

— Закрой дверь, — сказал он, не оборачиваясь. Гриша выполнил. — Теперь говори. Всё, что не сказал при боярах и этом... греке.

Гриша облегчённо выдохнул. Значит, князь догадался, что он не договаривал. И начал рассказывать. О невидимой тени в лесу. О шепоте, знавшем его имя. О видении в избе, о безмолвных криках, о девочке с глазами, полными мольбы. О погоне, о глазах в тумане, о ледяных щупальцах на мосту. О том, как береста жгла холодом и теплом, и как видение девочки остановило его руку.

Ярослав слушал, не перебивая. Когда Гриша закончил, в комнате повисло долгое молчание. Князь повернулся. Его лицо было бледным, а в глазах горел сложный огонь: страх, гнев и какое-то горькое понимание.

— Я сразу понял, что ты врёшь, — тихо произнёс Ярослав. — Вернее, не договариваешь. Слушай Гриша, не все это знают, но ты мой доверенный, мы с тобой с детства вместе росли. Так вот, есть в моём роду предание о том, что мой прапрадед Всеволод, основавший Черноборск, заключил с этим Бором... договор. Он, тогда, с остатками своей дружины бежал в эти места, после междоусобицы. Это был глупый, отчаянный договор. «Мы тебя не трогаем, ты нас не

трогаешь. За это назначалась дань». Дань та была... страшной, князь Всеволод отдал своего второго сына духу Чёрного Бора. — Он с силой сжал бересту, — Что если это не сказки? Что если дух Чёрного Бора разгневался на что-то? Что же произошло в Заозерье?

Гриша остолбенел.

— Неужели в роду Мшарыньских есть такое предание? Ты знал об этом и молчал? А что если твоё молчание и стало причиной? Люди забыли и сделали что-то...

— Знал... Но думал, что это всё сказки. Не думал, что это будет так... — он искал слово и не нашел, — И эта весть... — Он развернул бересту. — Это не просто предупреждение, Гриша. Это — вызов. Договор нарушен. С его стороны. Или с нашей. «Оно» вышло за старые границы. И теперь... теперь «оно» требует чего-то. Возможно, новой дани?

— Что будем делать? — спросил Гриша, чувствуя, как холодный ужас снова подползает к сердцу, но теперь смешанный с яростью. Его отец, его друг князь, все эти люди — они были пешками в какой-то древней, безумной игре?

— Не знаю, — честно признался Ярослав. Его взгляд стал отрешенным. — Мне нужно подумать. Одному. А ты... будь начеку. Серафим что-то почувствовал. Он ненавидит всё, что пахнет старыми богами и договорами с лесом. Для него это — бесовщина, подлежащая очищению огнём. И он не остановится. Иди. И... спасибо, что сказал правду.

Гриша вышел, и тяжёлые дубовые двери палаты закрылись за ним с тихим щелчком. Он стоял в полутемных сенях, пытаясь переварить услышанное. Договор. Дань. Его отец... мог знать?

Из тени у стены отделилась чёрная фигура. Серафим. Он подошёл так тихо, что Гриша вздрогнул.

— Долго беседовали, — произнёс поп, и его голос был сладок как яд. — О чём? Может, о том, что не решился сказать при всех? О видениях? О голосах? О твоём визите к старому болотному черту, что травки ворожит?

— Это не твоё дело, отче, — сквозь зубы проговорил Гриша, пытаясь обойти его.

Серафим преградил ему путь. Его лицо приблизилось, и Гриша увидел в его глазах не фанатичный огонь, а холодный, расчётливый ум.

— О, это дело всей паствы! Ты принёс сюда скверну, гонец. Я чувствую её на тебе. Запах тления и старых костей. Ты общался с тем, что противно Господу. И князь, видно, замешан в этих... тёмных делах. — Он понизил голос до зловещего шёпота. — Я буду молиться за твою душу, Григорий. Молиться усердно. Чтобы Господь осветил тебя и выжег из тебя эту нечисть. А если не выжжет... ну, есть и другие способы очищения. Огонь, например, хорошо очищает.

Он отступил, скрывшись в тени, словно и не было его. Гриша, сжав кулаки, пошёл прочь, чувствуя, как ненависть и страх борются в его груди. Угрозы попа были не пустым звуком.

Он вышел во двор, к вечернему небу. Воздух был тёплым, пахло дымом и цветущей черёмухой. Где-то смеялись. Где-то плакал ребёнок. Жизнь.

А он почувствовал слабую, едва уловимую вибрацию. Как будто что-то внутри неё отозвалось на каменные стены Черноборска, на древний перстень на руке Ярослава, на молитвы Серафима и заклинания Чаровлада. Как будто семя, принесённое из Чёрного Бора, начало прорасти, пуская невидимые корни в эту новую почву.

Круги, как сказал старик, только начали расходиться. И Гриша Васильев сын стоял в самом их центре.

Глава 4. Свидетельства из Ларца

Тишина в княжеских покоях после ухода Гриши была гулкой и тяжёлой, наполненной невысказанными словами и тенью давнего предания. Ярослав Мшарынский не лёг. Он стоял у стола, на котором лежали рядом две бересты: одна, присланная из Заозерья, тёмная от крови, и вторая, чистая, с хозяйственными распоряжениями, теперь казавшаяся жалкой и незначительной.

Договор. Дух Чёрного Бора. Второй потомок.

Слова, сказанные им Грише, висели в воздухе, обретая чудовищную плотность. Князь всегда считал это сказкой. Страшной, как те, что няньки рассказывают у печи, чтобы дети не шалили. Легендой рода, призванной объяснить, почему Мшарынские так и не пошли дальше на север, за Чёрный Бор. Красивой и мрачной метафорой.

Но вид Григория, его глаза, выжженные изнутри ужасом, и эта береста, от которой веяло холодом могилы... Это не было метафорой.

«Отец говорил... ларец. Родовой ларец».

Ярослав отшвырнул от себя стул и подошёл к резному дубовому киоту в углу, где стояла походная икона Спаса — память о его крестителе, том что служил отцу ещё до грека Серафима. С детства он помнил наказ отца: «За иконой — не наше, княжеское, а родовое. Наше — тяжёлое. Передашь сыну».

С благоговейной, болезненной неловкостью он снял икону. За ней в стене была неглубокая ниша, заложенная плоским камнем. Пальцы скользнули по холодной поверхности. Камень поддался с тихим скрежетом, открыв чёрную пустоту.

Внутри лежал ларец. Небольшой, из тёмного, почти чёрного дерева, без каких-либо украшений, отполированный временем до бархатной гладкости. Он был неожиданно тяжёл. Ярослав вынул его, поставил на стол. Сердце билось где-то в горле.

Защёлка откинулась без сопротивления. Внутри пахло сухой травой, древней пылью и запах этот был горьким как полынь.

Наверху лежала прядь волос. Не седая, как он ожидал, а пепельно-серая, странного, неестественного оттенка, будто их окрасил не возраст, а сам лесной мох. Волосы были перетянуты тонкой тканевой полоской. Ярослав отложил их в сторону с суеверным трепетом.

Под ними находились несколько листов бересты, аккуратно связанных кожаным ремешком. И один засохший дубовый лист, хрупкий, как папиросная бумага, но удивительно сохранивший форму.

Дрожащими руками князь развязал ремешок и разложил грамоты под светом масляной лампы.

Почерк был старинным, угловатым, местами выцветшим, но читаемым. Это была не летопись, а скорее... инструкция. Завещание. Предупреждение.

«Сие писал Всеволод, прозванный Лесным, сын Мстислава, основавшего град сей у Чёрного Бора... Бежали мы от братней руки в сию чашу, и был Бор к нам милостив, ибо видел страх наш и отчаяние... И явился нам Страж его, не человек и не зверь, но голос из-под каждых корней, взгляд из-за каждого ствола...»

Ярослав читал, и по спине бежали мурашки. Это был не поэтический вымысел. Это был сухой, безэмоциональный отчёт человека, заключившего сделку с непостижимым.

«... И заключили мы договор. Межи наши — по ручью Серебряному и камню Велещему. Не трогать лося, чьи рога — как месяц в воде. Не трогать лисицу, чей мех — как ночь без звёзд. Не рубить дубы, что старше рода нашего. И не входить в Священную Рощу — рощу, где стоят камни-великаны с ликами, что не людям видеть... а в обмен даём мы...»

Здесь чернила легли гуще, будто пишущий набрал сил.

«...в обмен даём второго сына своего, от плоти и крови. И будет он не мёртв, но станет частью Бора, слухом его и голосом, плотью от плоти древесной. И так — в каждом следующем колене...»

Ярослав откинулся на спинку стула, закрыв глаза. В ушах гудело. «В каждом колене». У его прадеда был второй сын, который умер младенцем в лесу. У деда — второй сын пропал на охоте. Отец... у отца был лишь один сын. Нарушилась ли цепь? Или Бор ждал?

Он заставил себя читать дальше. Там описывалось место Священная Роща, не по названиям, которых не было, а по приметам: «три кривых сосны, как плечи великана», «ручей, что уходит под камень», «камень с личиной, смотрящей на закат». И в конце, отдельным абзацем, почти небрежно:

«И есть в Роще тайник, под камнем-ликом. Хранится там Зрячее Сердце Бора — то, через что он видит сокровище. Лунный Лик. Не трогать. Ибо ослепший страж — страж слепой и яростный.»

И тут же, на полях, были нацарапаны знаки. Не буквы. Угловатые, как сучья, символы. Один из них, круг с тремя лучами, выходящими из центра и упирающимися во внутреннюю границу стрелками, был точь-в-точь как знак, трижды повторённый на кровавой бересте из Заозерья!

Ярослав схватил обе бересты, сравнил. Да. Один в один. Его охватила ледяная догадка. Это не просто предупреждение. Это... указание. Язык договора. Знак, говорящий: «нарушено табу».

— Ярослав? Ты ещё не спишь?

Тихий, едва уловимый голос заставил его вздрогнуть, словно шелест берёзовой листвы в безветренный полдень нарушил тяжёлую тишину. Ярослав обернулся и замер.

В дверях, окутанная мягким, трепетным светом ночника, стояла его жена, Анна. Пламя лучины мерцало за её спиной, очерчивая силуэт золотым ореолом, а тени плясали вокруг, как бережные духи, охраняющие миг этой встречи.

Она была высока и стройна, как молодая рябина, а светлые волосы, обычно собранные в тугую косу, теперь рассыпались по плечам свободными прядями, отливая в свете огня цветом спелой ржи. Лицо её, уставшее от долгих дней ожидания и тревожных ночей, не утратило своей тихой красоты, в нём читалась та особая, глубокая прелесть, что рождается из силы духа и нежности сердца. Под тонкой льняной сорочкой, вышитой по вороту скромным узором из калины, отчётливо проступал большой, уже заметный живот, живое свидетельство того, что жизнь продолжается, вопреки всем бедам и опасностям.

В руках Анна держала глиняный кувшин с молоком, простой, без украшений, но такой родной, знакомый до каждой трещинки. Капли воды выступили на его боках, сверкая, как роса на утренней траве. Она сделала осторожный шаг вперёд, и князь уловил лёгкий аромат: запах свежего хлеба из печи, тёплого молока и едва уловимый травяной дух, видимо, она недавно заваривала успокаивающий сбор из мяты и душицы.

— Уже глубокая ночь, — мягко сказала она, подходя. Её взгляд скользнул по столу, по раскрытому ларцу, по берестам. Она не спрашивала. Она знала — если муж в такое время заперся с древностями, дело серьёзное. — Завтра тебя ждут суды да думы. Без сна ты не будешь ясен умом.

— Аннушка, — его голос прозвучал хрипло. Он хотел рассказать. Обо всём. О договоре. О возможной цене. Но увидел её руки, инстинктивно лежащие на животе. На их втором ребёнке. Слово застряло в горле комом ледяного ужаса. — Прости. Дела... неотложные.

— Всех дел не переделать, — она положила руку ему на плечо. Её прикосновение было тёплым, живительным островком в море ледящего мрака. — Иди. Хоть на часок. Ради нас.

Он посмотрел в её глаза, ясные, полные любви и простой, человеческой заботы. Ради неё. Ради их первенца, трёхлетнего Святослава, спящего в соседней горенке. Ради того, кто ещё не родился. Он не мог сейчас обрушить на неё этот кошмар.

— Ты права, — он накрыл ладонью бересты, словно пряча их от неё. — Иду.

Он позволил ей увести себя, но сон не шёл. Он лежал, глядя в темноту, и перед глазами у него стоял тот знак. Круг с тремя лучами-стрелами.

Гриша Васильев сын спал в своей каморке под лестницей, тесной, душной клетушке в части палат, выделенных для слуг терема. Сквозь узкое оконце пробивался слабый свет ущербной луны, рисуя на полу призрачные узоры от резных перил. Воздух был густ и тяжёл, будто сама ночь принесла с собой дыхание забытых могил.

Сон его был беспокойным, липким, словно паутина, оплетающая разум. Ему снился запах тления, чего-то гнилого, разлагающегося во влажной земле. Вокруг царила тишина, глубокая и давящая, как толща воды над головой утопленника. И тьма, густая, осязаемая, без единого проблеска света.

Но в этой тьме начали появляться огоньки. Не тёплые, не ласковые, как от лучины или костра, а холодные, синеватые, точно болотные огни, что манят путников в трясины. Они мерцали, пульсировали, складывались в знаки, те самые, что он видел на бересте: угловатые, странные, будто вырезанные нечеловеческой рукой. Символы висели в пустоте, дрожа, словно живые существа, а затем стали сдвигаться, вращаться, выстраиваясь в причудливый узор, похожий на... карту.

Он увидел извилистую линию, ручей, петляющий среди лесов. Три точки, образующие треугольник, кривые сосны у старого капища? И в центре, яркая, болезненная вспышка, режущая глаза, как осколок льда, отразивший солнечный луч. Вокруг неё тьма клубилась плотнее, чем где-либо, сгущалась, будто живое существо, дышащее злобой и тайной.

Из этой тьмы стали выходить силуэты.

Жители Заозерья. Бледные, полупрозрачные, с лицами, искажёнными не страданием, а какой-то древней скорбью. Они не смотрели на него с укором, в их глазах не было гнева, только отчаяние и мольба. Они показывали. Руками, взглядами, всем своим существом указывали на тот знак в центре, на вспышку. Их рты беззвучно кричали одно и то же слово, которое Гриша не слышал, но понял: «Там».

И снова появилась девочка, та самая, что смотрела на него в избе с мольбой во взгляде. Она подошла ближе всех. Её полупрозрачная рука потянулась к Грише не, чтобы схватить не, чтобы утащить во тьму, а, чтобы... коснуться его лба.

Ледяная боль пронзила кожу, резкая, внезапная, как укол шипа старой ели.

Гриша вскрикнул и сел на постели, в темноте, в поту. Сердце колотилось, как у загнанного зверя. За окном брезжил первый луч, серый рассвет медленно наступал. Призраки растаяли, но чувство ледяного прикосновения на лбу оставалось как ожог.

Он больше не мог лежать. В голове стучало: Там. Там. Там. И эти знаки... Он видел их не только во сне. Он узнавал их.

Он встал, натянул одежду и вышел. Воздух был свежим, предрассветным. Черноборск ещё спал. Гриша почти бегом направился к Старой Ели.

Чаровлад, казалось, не спал вовсе. Он сидел на завалинке перед избой, что-то растирал в каменной ступе. Увидев Гришу, кивнул, будто ждал.

— Конь твой, — сказал старик, не отрываясь от работы, — на поправке. Порчу выгнал. Не всю, что сидит в самой глубине, но ту, что рану гноила, вытянул. Теперь заживёт, как от простого железа.

Гриша только кивнул, переводя дух. Слова благодарности застряли в горле перед тем, что он нёс внутри.

— Дед... мне... снилось...

— Не снилось, — отрезал Чаровлад, наконец подняв на него свои медовые глаза. — Тебя звали. Ты носил в себе отраву, но она исторглась в видении. А теперь говорит остаток. Говори, что мучит.

И Гриша выложил всё. Всё что видел в Заозерье. Всё, что рассказал князь о договоре. О втором сыне. О Священной Роще. И о своём сне, о знаках, о карте, о призраках, показывающих туда. И о ледяном прикосновении.

Чаровлад слушал, не перебивая. Когда Гриша закончил, старик долго молчал, смотря куда-то поверх его головы, в крону древней ели.

— Договор... — наконец прошептал он. — Правда. Не сказка. Кровью и потом рода написан. — Он посмотрел на Гришу. — Знаки, что ты видел, — это печати договора. Метки табу. Если один явился на бересте... значит, табу нарушено. Убит священный зверь. Или... — он сделал паузу, — или тронут Лик. Если он украден или осквернен... Страж ослепнет. Он не видит, кто нарушил. Он только чувствует боль и ярость. И карает... всех.

— Вот почему те души в лесу просили меня что-то вернуть... Видимо и вправду украли святое? Как исправить? — вырвалось у Гриши.

— Вернуть украденное. Наложить епитимью за пролитую кровь зверя, если она пролита. И... — Чаровлад тяжело вздохнул, — возможно, потребовать нового залога. Отдать второго потомка княжьего рода. Такова цена возобновления договора.

Гриша похолодел. Он вспомнил беременную княгиню. В голове вспыхнуло: «второй потомок».

— Мы должны ехать туда. В Заозерье. В Священную Рощу. Узнать, что именно случилось!

Чаровлад медленно кивнул.

— Должны. Но князь твой... он на распутье. Христианский поп на одном плече кричит, что всё это бесовщина. А долг рода на другом, шепчет о старых клятвах.

Ярослав принял Гришу в своих покоях, как и намерен. Он выглядел измождённым, но собранным. На столе лежали разложенные бересты из ларца и грамота из Заозерья.

— Смотри, — без предисловий сказал князь, указывая на знаки. — Это язык того договора. И он говорит, что нарушено главное табу. Запрет на вход в Священную Рощу. Здесь, — он ткнул пальцем в старую бересту, — сказано о Лунном Лике, что это такое и как выглядит неизвестно. Но возможно, именно Лунный Лик потревожен, ибо если бы священный зверь был убит или священный дуб срублен, то явились бы другие знаки.

Гриша, не сдержавшись, взволнованно перебил:

— Княже! Я видел эти знаки! Во сне! И... там было что-то указывающее на место. Ручей, три сосны..., и они показывали туда! И старик Чаровлад говорит то же, что потревожен Лунный Лик, дух Бора ослеп и яростен!

Ярослав смерил его долгим взглядом.

— Ты был у язычника.

— Коня лечил! И... говорил. Кто ещё знает эти дела, как не он?!

— Серафим уже донёс мне, что ты водишься с «бесовским ведуном», — голос Ярослава стал жёстким. — Он требует его изгнания, а тебя — покаяния. Если я явно встану на твою сторону...

— Не нужно тебе вставать, — быстро сказал Гриша. Его осенило. — Пошли меня. Официально — для дозора, проверки дорог после случившегося. А неофициально... я возьму старика. Он знает лес, знает эти дела. Мы попробуем найти эту Священную Рощу. Узнать, что произошло. Может... может, удастся всё исправить?

Ярослав закрыл глаза. В его лице боролись страх, ответственность и та самая родовая вина, о которой он прочитал ночью.

— Это смертельно опасно, Гриша. Я уже послал тебя один раз в пасть... И ты едва вернулся.

— Я вернулся, потому что должен был донести весть, — твёрдо сказал Гриша. Теперь он чувствовал не просто страх, а странную, ледяную решимость. Он был в центре этого круга. Он видел лица. Он чувствовал прикосновение девочки-призрака. Бежать было уже нельзя. — Теперь весть донесена. И я понимаю, что нужно делать. Дай мне этот шанс, Ярослав. Не как князь — как друг. Мы должны знать.

Молчание длилось вечность. Ярослав открыл глаза. В них была бездонная усталость и согласие.

— Хорошо. Завтра. Под видом проверки окрестностей Заозерья. Возьми лучшего коня из моей конюшни, пока твой Вихрь не излечится. И... — он сглотнул, — возьми этого Чаровлада. Но чтобы никто не видел, как ты его берёшь. Особенно Серафим.

Князь подошёл к окну, снова глядя в сторону Бора.

— И, Гриша... — он говорил, не оборачиваясь. — Найди Священную Рощу. Узнай, что такое Лунный Лик. Но если это... если это... привези мне весть. Честную. Я буду ждать. И мне... придётся выбирать.

В его голосе прозвучала такая беспомощная, страшная тяжесть, что Гриша понял: князь думает не о серебре или звериных шкурах. Он думает о своём не рождённом ребёнке. О цене нового договора.

Гриша молча поклонился и вышел. Он шёл по оживающему утреннему двору, и в груди у него, рядом с ледяным комом страха, зажглась маленькая, упрямая искра цели. Он шёл не просто в лес. Он шёл в самое Сердце древнего ужаса, чтобы найти глаза слепого бога. И от этого зависело слишком многое.

Круги расходились, и следующая волна должна была начаться с него.

Глава 5. Священная Роща

Конюшня, куда перевели выздоравливающего Вихря, встретила Гришу знакомым уютом и живыми летними запахами: душистым сеном, уложенным на сеновале, кожей упряжи, пропитанной потом и ветром дальних дорог, и тёплым, размеренным дыханием его скакуна, таким родным, что на миг у Григория защемило сердце.

Лучи полуденного солнца пробивались сквозь щели в бревенчатых стенах, рисуя на земляном полу золотистые полосы, в которых танцевали пылинки. Где-то под крышей деловито ворковали голуби, а за открытой дверью слышалось жужжание пчёл, кружащих над цветущей гречихой у забора. В воздухе витал лёгкий аромат смолы от свежих досок, которыми недавно подлатали стойло, и едва уловимый запах чабреца, видимо, конюхи разбросали траву, чтобы отпугивать мух.

Вихрь, завидев хозяина, тихо всхрапнул, звук вышел хриловатым, но полным радости. Он потянулся мордой к плечу Григория, фыркнул, обдав тёплым воздухом, и ткнулся влажным носом в ладонь. Гриша невольно улыбнулся и провёл рукой по жёсткой гриве, ощущая под пальцами всё ещё напряжённые мышцы, конь восстанавливался.

Нога скакуна была заботливо перевязана чистой холстиной, аккуратно обмотанной вокруг раны. Ткань, выбеленная солнцем и вымоченная в целебных отварах, держалась прочно, без складок и перетяжек, Чаровлад сделал своё дело на совесть. Под повязкой проступало едва заметное пятно травяной мази, пахнувшей зверобоем и дубовой корой. Рядом, на деревянной лавке, стоял глиняный горшочек с остатками снадобья, прикрытый лопухом, а рядом лежал пучок сушёного тысячелистника, на случай, если потребуется сменить повязку.

— Ну, брат, — Гриша опустил на колено перед конём, положил ладонь на тёплую, вздрагивающую шею. — Прости. Не возьму тебя пока. Ты своё уже отбегал за нас двоих.

Вихрь смотрел на него большими, влажными глазами. В них не было упрёка. Только преданность и тревога.

— Я ворочусь, — Гриша прижался лбом к конской морде, чувствуя горький ком в горле. — Ты только поправляйся. Мы ещё помчимся с тобой. В чисто поле, в ясный день. Без этой... без этой тьмы.

Он помолчал. Конь дышал ровно и глубоко, будто впитывая его обещание.

— Береги его, Тит, — сказал Гриша, поднимаясь. Старый конюх молча кивнул, пряча в усах понимание. Провожал взглядом не просто всадника, а обречённого.

На княжеской конюшне Гришу ждали два свежих, сильных жеребца: гнедой для него, соловый для Чаровлада. Уздечки блестели новой кожей, сёдла были надёжны. Но сердце осталось там, в стойле Вихря.

Лесная опушка встретила Григория тишиной. Утренние сумерки ещё цеплялись за траву седой росой, и в этом молочном мареве фигура Чаровлада проявилась не сразу, он словно вырос из тумана, сухой и прямой, как молодой дубок. Старик был одет просто: льняная рубаха до колена с вышивками по вороту и рукавам, тёмные порты, лапти. На лбу узкое очелье. В одной руке — посох из корявого, узловатого дерева, за спиной — берестяная коробка.

— Не мешкай, — сказал он, принимая повод солового. — Лес ждать не любит. Особенно теперь.

— Что у тебя там? — Гриша кивнул на коробку.

— Своё. — Чаровлад похлопал по бересте. — Земля от родного порога. Угли из очага. Травы, наговорённые. И то, о чём тебе знать пока рано. Всё, чем дышит дом, чем крепок род. Для леса это — язык. Надеюсь, он ещё поймёт.

— Погоди дед. — Гриша достал из-за пазухи прядь серебристых волос из родового ларца Мшарыньских, что ему дал князь перед их расставанием. — Это лучше взять тебе, я всё равно не знаю, что с этим делать.

Чаровлад поглядел на прядь прищурившись и кивнув взял её.

— Печать договора. Спасибо князю, это нам точно пригодится. — Проговорил старик, укладывая полученное в свой короб.

Они выехали. У ворот Черноборска, на сторожевой вышке уже погасили огонь. Но Гриша чувствовал на спине иной свет не пламени, а взгляда. Тяжёлого, полного предчувствий. Он обернулся.

В узком оконце княжеского терема, высоко над землёй, стояла женщина. Княгиня Анна. Её светлые волосы были убраны под плат, руки сложены на большом, округлившемся животе. Она смотрела им вслед, не двигаясь, словно провожала не в дорогу, а в вечность.

Гриша отвернулся и пришпорил коня.

Сначала лес казался обычным, приветливым, знакомым, таким, каким он бывал каждое лето. Пахло прелой листвой, влажной землёй и густой сосновой смолой, что выступала на стволах в полуденную жару. Где-то далеко, в вышине, перекликались дрозды, их звонкие трели рассыпались по лесу, как серебряные монеты. Лучи солнца пробивались сквозь кроны, рисовали на траве пятнистые узоры, а в воздухе танцевали пылинки, будто крошечные светлячки.

Но чем глубже они уходили в чащу, тем явственнее проступала неправильность, словно сама природа затаила дыхание, предупреждая: здесь что-то не так.

Птицы замолкли. Не постепенно, не по одной, а разом, будто кто-то невидимый перерезал нить их песен острым, безжалостным ножом. Тишина обрушилась внезапно, оглушительно, оставив после себя лишь гулкое эхо умолкшей мелодии. Даже кузнечики умолкли, и даже ветер, ещё недавно шептавший в листве, застыл, словно его сковали невидимые чары.

Ветви берёз, обычно гибкие и живые, застыли в неестественных, изломанных позах, будто деревья в последний миг пытались отпрянуть от чего-то ужасного, но застыли навеки в этом жесте ужаса. Кора на них потемнела, покрылась странными трещинами, напоминающими руны, вырезанные не рукой человека, а когтями неведомого существа.

Воздух стал густым, его приходилось пробивать грудью, как воду, с каждым вдохом ощущая тяжесть, давящую на плечи. Дыхание сбивалось, в горле першило от странного привкуса, не то железа, не то пепла. Тени под деревьями сделались слишком чёрными, слишком глубокими, казалось в них пряталось, что-то, наблюдающее, ждущее.

— Чуешь? — негромко спросил Чаровлад. Он ехал впереди, то и дело оглядываясь по сторонам, внюхиваясь, вслушиваясь. — Лес... кричит. Только беззвучно.

— Кричит? — Гриша непроизвольно сжал рукоять меча.

— Он ослеп. И от этого... потерял себя. Раньше он был стражем, мудрым и терпеливым. Теперь он — зверь в мышеловке. Грызёт всё, до чего дотянется. И сам себя не помнит.

Ветка, нависавшая над тропой, внезапно качнулась и с силой хлестнула Гришу по лицу. Он вскрикнул скорее от неожиданности, чем от боли, отдёргнулся. На щеке вспухла красная полоса.

— Не трогай их, — быстро сказал Чаровлад. — Не отвечай. Лес ищет, на ком сорвать боль. Не давай ему повода.

— Что же нам делать? — сквозь зубы процедил Гриша, утирая кровь.

— Идти по договору. По меткам, которые он сам оставил, когда ещё был в разуме.

Сначала направились в Заозерье. Гриша ехал впереди, настороженно озираясь вокруг, память о той страшной ночи, когда он был в деревне последний раз, холодными иглами покалывала затылок. Тогда лес встретил его воем неведомых тварей и шёпотом теней, а теперь... теперь он казался слишком тихим, мёртвым. Ни пения птиц, ни стрекота кузнечиков, ни даже шороха листвы, лишь тяжёлое, гнетущее безмолвие, будто сама природа затаила дыхание.

Заозерье тоже встретило их тишиной, плотной, как вата в ушах, глушащей все звуки, кроме стука копыт коней да собственного сердцебиения. Григорий невольно сглотнул: воздух здесь был спёртым, затхлым, с привкусом тлена и чего-то чуждого, будто сама земля забыла вкус жизни.

Гриша не узнавал деревни. Всего пара дней прошла с его безумного бегства, а время здесь будто свернулось в спираль, исказилось, потечёт вспять или застыло в вечном мгновении ужаса.

Избы, прежде крепкие и ладные, теперь осели, склонились к земле, как уставшие старики. Крыши прохудились: дранка свисала ключьями, местами проглядывали голые стропила, покрытые седым мхом. Краска с наличников слезла, открыв серую, трухлявую древесину, изъеденную временем, в трещинах виднелись странные узоры, напоминающие руны, вырезанные не рукой плотника, а когтями неведомого существа.

У колодца, где, когда-то бабы набирали воду и переговаривались весёлыми голосами, выросла крапива, по пояс, жгучая, злая. Её стебли, тёмно-зелёные и колючие, сплетались в непролазную чащу, а листья шелестели угрожающе, шептали проклятия. Возле ворот одной из изб валялся опрокинутый ушат, рядом, забытый серп, покрытый рыжим налётом ржавчины.

В пряслах заборов зияли дыры, жерди торчали вкривь и вкось, как сломанные кости. Калитки скрипели на ветру, не весело, по-домашнему, а протяжно, жалобно, точно стонали от боли. На улице не было ни души: ни детей, гоняющих мяч, ни стариков на завалинках, ни женщин с вёдрами. Даже собаки не лаяли, только тишина, давящая, всепоглощающая, и ощущение, что за каждым углом, за каждой покосившейся избой кто-то смотрит...

— Здесь было... иначе, — Гриша с трудом ворочал языком. Воздух давил на грудь. — Когда я уезжал — было пусто, но не так. Не мёртво.

— Мёртво, — эхом отозвался Чаровлад. Он уже спешился, ступал по истоптанной, запылённой земле, как по свежей могиле. — И не дни здесь прошли, парень. Годы. Или века. Время здесь больше не людское. Оно подчинилось тому, что пришло из Бора.

Они вошли в избу старосты. Здесь всё осталось как в прошлый раз: опрокинутый стол, черепки, сбитая печная заслонка. И пустота. Та самая пустота, что кричит громче любого вопля.

— Нужно вызвать эхо, — сказал Чаровлад. Он достал горшочек с углями, бросил в него сухие листья полыни. Едкий, горький дым пополз по избе, оседая на стенах, на лавках, на лицах. — Сядь. Закрой глаза. Дыши этим. И вспоминай.

Гриша сел на лавку, с которой когда-то сорвался в ужасе. Закрыв глаза. Полынь щипала ноздри, проникала в горло, в лёгкие. Горечь была такой плотной, что её можно было жевать. Старик зашептал заклинание.

И вдруг — провал.

Он снова видел их. Жителей Заозерья. Но не мечущихся в панике, не безмолвно кричащих. Они бежали. Бежали не от леса, а в лес. Лица их были искажены не страхом, а странным, пугающим зовом. Они смотрели в сторону Чёрного Бора и не могли отвести взгляд. Старуха с клюкой, мужик с топором, девка с младенцем на руках, все они шли, спотыкаясь, падая, поднимаясь, шли туда, откуда не возвращаются.

И только девочка, та самая, с глазами-омутцами, оглянулась. В её взгляде была мольба. И тихое, страшное знание.

«Он позвал нас. Мы не могли не пойти».

А потом пришла волна. Невидимая, немая, но ощутимая, как удар под дых. Тьма накатила сзади, сметая, поглощая, стирая. И когда она отступила, на дороге не осталось никого. Только пустота. И тишина.

Гриша открыл глаза и хватал ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. На щеках — мокро. Он плакал и не замечал этого.

— Их позвали, — прошептал Чаровлад. Лицо старика было серым, из носа тонкой струйкой сочилась кровь. Цена видения легла и на него. — Не наказать. Не покарать. Позвали, как свидетелей преступления завета.

— Кто преступил завет? — выдохнул Гриша. — Кто это сделал?

— Мы узнаем. — Старик вытер кровь рукавом. — Если успеем.

Гриша и Чаровлад покинули мёртвую деревню. Дальше их путь продолжился не по накатанной дороге, а по едва заметной тропе, узкой, извилистой, будто прочерченной невидимым пальцем на теле земли. Старик знахарь указал на неё коротким кивком, и его глаза, мудрые и печальные, на мгновение задержались на горизонте, где синели далёкие холмы.

Ветки искривлённых деревьев нависали низко, почти касаясь макушек всадников. Берёзы, обычно стройные и светлые, здесь склонялись под странными углами, их кора покрылась тёмными пятнами, точно следы чьих-то когтей. Дубы стояли, как окаменевшие стражи, с ветвями, скрученными в судорожных изгибах, будто в последний миг пытались от чего-то заслониться. Грише приходилось постоянно отводить их в стороны, чувствуя, как шершавая кора царапает ладонь, а в воздухе витает запах гнили и чего-то кислого, нездешнего.

Буйная трава, высокая, по колено, с колючими метёлками, пыталась запутать ноги коней. Полынь, крапива, чертополох сплетались в единый колючий ковёр, цеплялись за стремяна, шуршали угрожающе, будто переговаривались между собой.

Солнце, всё ещё высокое, пробивалось сквозь густую крону лишь редкими бликами, рисуя на земле неровные пятна света и тени. Но даже в этих пятнах не было тепла, только бледное, неживое сияние, точно само светило боялось коснуться этой земли. В воздухе висел странный гул, не пение пчёл, не стрекот кузнечиков, а глухой, монотонный звук, напоминающий отдалённый шёпот.

Сколько прошло времени, Гриша потерял счёт. Но, наконец, ехавший впереди старик спешился, подошёл к придорожному валуну, поросшему седым мхом. Он долго вглядывался в узоры лишайника, водил над ними пальцем, шептал что-то, и наконец кивнул.

— Сюда. Мох на камне растёт не по солнцу, а по старой памяти. Он указывает к ручью Серебряному.

Они свернули с тропы в самую чашу.

Ручей Серебряный они узнали не по воде, а по тишине, той, что ложится на плечи, словно влажное полотно. Даже лес, искажённый и безумный, с его искривлёнными деревьями и мёртвыми полянами, замирал перед его берегами, будто склонялся в немом почтении перед чем-то древним и грозным.

Вода в ручье была чёрной. Не мутной, не грязной, именно чёрной, как расплавленная смола, как безлунная ночь, застывшая в жидкой форме. Она не двигалась, не журчала, не плескалась, просто стояла, гладкая и ровная, словно зеркало из обсидиана, в котором не отражалось ничего: ни небо, ни деревья, ни сами путники. Лишь изредка по поверхности пробегала едва заметная рябь, но не от ветра, не от падения листа, а будто от дыхания чего-то, спящего глубоко внизу.

— Договорная межа, — глухо произнёс Чаровлад. — Здесь проходит граница. В ту сторону, уже ни люди, ни звери заходить не могут. Там Чёрный Бор в своей истинной сути. — Он помолчал. — Раньше вода здесь была прозрачна как слеза. Её пили, в ней купались. Теперь она... мёртвая. Как и всё, к чему прикоснулась рука осквернителя.

Он достал из котомки горшочек с тлеющими углями, раздул огонь, бросил в него щепотку сухой земли, той самой, от родного порога. Земля зашипела, взметнулся белый, пахучий дым.

— Слушай меня, ручей Серебряный, — заговорил старик, обращаясь к чёрной воде. — Я не чужой тебе. Пил я воду твою в детстве, когда ещё жив был дед мой, и лес не знал скорби. Я помню твой свет. Верни его нам. Хоть на миг. Хоть на шаг.

Он бросил горсть дымящейся земли в воду.

Чёрная гладь вздрогнула. По ней пошли круги, медленные, тяжёлые, словно вода с усилием вспоминала забытое движение. И вдруг, прямо под ногами коней, чернота расступилась. Полыхнуло серебром, на одно лишь мгновение вода стала прозрачной, чистой, живой. На дне проступили светлые камни, и в них отразилось небо.

— Видишь? — выдохнул Чаровлад. — Он ещё помнит. Договор жив. Тонок, как волос, но не порван.

— Едем, — Гриша тронул поводья. — Пока память не погасла.

Они перешли ручей по светлому пятну, и едва копыта коснулись противоположного берега, вода снова сомкнулась за ними, чёрная, немая, слепая.

Дальше был путь, который Гриша запомнил обрывками, как страшный, дурной сон, что липнет к векам даже после пробуждения. Лето, щедрое и яркое там, за границами этого проклятого места, здесь превратилось в бледную тень самого себя: солнце, ещё недавно заливавшее поляны золотом, теперь едва пробивалось сквозь плотную пелену тумана, окрашивая всё в серо-зелёные тона.

Лес перестал быть лесом, он стал чем-то иным, искажённым, изломанным. Деревья изгибались в немыслимых позах, будто застыли в агонии: берёзы склонялись до земли, их ветви сплетались в чудовищные узлы, напоминающие сплетение змей; дубы кривились, словно от боли, а их корни выползали из земли, как щупальца древних спрутов, покрытые слизью и грибами. Пни, некогда гордые и крепкие, теперь гнили, истекая чёрной, маслянистой слизью, которая стекала по древесине, оставляя на земле ядовитые разводы.

Грибы росли повсюду, огромные, со шляпками размером с человеческую голову, они возвышались среди мха, словно поганые курганы. Их поверхности мерцали фосфорическим, нездоровым светом, бледно-зелёным, болезненным, от которого рябило в глазах и подступала тошнота. Воздух был густ и тяжёл, пропитан запахом гниения.

В какой-то момент впереди, в просвете между искажёнными стволами, мелькнула тень. Огромная, величественная, с ветвистыми рогами, от которых исходило слабое, призрачное сияние, как отблески далёких звёзд, затерявшихся в лесной глуши.

— Лось с серебряными рогами, — выдохнул Гриша, чувствуя, как сердце сжалось в груди.

Зверь стоял неподвижно, как изваяние, вырезанное из лунного света и тумана. Его шкура была прозрачна, сквозь неё просвечивали стволы деревьев и клочья тумана, создавая причудливую игру теней. А в глазницах зияла пустота. Чёрная, слепая, бесконечная, будто в них отразилась сама бездна, поглотившая, когда-то этот лес.

— Хранитель, — глухо сказал Чаровлад, и голос его прозвучал непривычно хрипло. — Он ослеп вместе с Чёрным Бором. Не видит нас. Не слышит. Только чувствует боль, ту, что течёт по корням, ту, что гложет землю под ногами.

Лось повернул голову в их сторону. На миг Грише показалось, что пустота в его глазах ожила, и посмотрела прямо в душу, до самых потаённых уголков, где хранились и страх, и надежда, и память о том, ради чего он пришёл сюда. В груди защемило, дыхание перехватило, будто кто-то сжал сердце ледяной рукой.

— Пошли, — Чаровлад дёрнул повод. — Скорее.

Они ехали, и лес набрасывался на них снова и снова, как живое существо, озлобленное и мстительное. Ветви, искривлённые и острые, как когти, хлестали по лицам, оставляя тонкие царапины. Корни, толстые и узловатые, выползали из земли, норовили подсесть ноги коней, оплести их ноги, утянуть в тёмную глубину. Кони фыркали, мотали головой, отбрасывая с морды липкую паутину, что свисала с деревьев, будто сеть неведомого охотника.

Внезапно воздух обжёг ледяным холодом, резким, пронзительным, противоестественным среди летнего зноя, среди густой зелёной листвы, что ещё миг назад шелестела под тёплым ветром. На Гришин плащ опустились крупные, колючие снежинки, белые, как кость, острые

как иглы. Они не таяли. Они жгли, оставляя на ткани тёмные пятна, будто выжигали знак. Григорий невольно отшатнулся, чувствуя, как по коже бегут мурашки, не от холода, а от чего-то более древнего, первобытного.

— Держись! — крикнул Чаровлад, и голос его прозвучал непривычно громко в этой внезапно онемевшей чаще.

Старик запел. Старческим, дрожащим голосом, фальшиво и отчаянно, но в этой фальши была сила, древняя, как эти камни, как сам лес, как первые люди, что пришли сюда с дарами и молитвами. Слова лились неровно, спотыкаясь, но каждое звучало, будто удар топора по жертвенному дереву:

«Солнце, прорвись сквозь кроны,
Дай свету путь, не дай тьме встать стеной.
Вода, беги к корням живым,
Напой их силой, не дай им уснуть во мгле.
Доверие меж человеком и лесом —
Кровью скреплено, клятвой вековой...»

Чаровлад кланялся каждому дереву, низко, почтительно, как перед старшими родичами. Бросал под корни щепотки соли, белой, крупной, освящённой в Чистый четверг. Крошил ржаной хлеб, тёмный, плотный, испечённый на берёзовых углях, с травами, собранными в ночь на Купалу. Крошки падали на землю, и там, где они касались почвы, проступали слабые золотистые блики, словно сама земля вспоминала свет.

И лес отступал. Нехотя, с рычанием, похожим на отдалённый гром, с шорохом, будто тысячи змей уползали в норы. Снег таял, превращаясь в капли, что скатывались с плаща как слёзы. Ветви замирали, переставая хлестать по лицам, вытягивались вверх, точно признавая власть древнего заклęcia. Корни уползали обратно в землю, скрываясь под мхом и листьями, оставляя тропу свободной.

Но с каждым разом Чаровлад бледнел всё больше. Его руки дрожали от напряжения, будто он держал на плечах тяжесть целого мира. Голос срывался, прерывался хрипом, а на виске вздулась синяя жила, пульсируя в такт словам. Он платил за каждый шаг, ни серебром, ни хлебом, а частицей собственной силы, той, что копилась годами, передавалась от учителя к ученику, от ведуна к ведуну.

— Дед... — начал Гриша.

— Молчи, — оборвал старик. — Не жалея. Я сам выбрал эту стезю. Ещё не вечер.

Они нашли Священную Рощу на закате.

Три сосны, кривые и обомшелые, стояли треугольником, как три сгорбленных старца на вечном совете, склонивших головы в безмолвной беседе. Их ветви, узловатые и корявые, сплетались вверху, образуя неровный свод, а кора, покрытая седыми клочьями лишайника, хранила следы веков. Под ногами шуршали опавшие иголки, пахло смолой и влажной землёй, чистым, живым запахом, так непохожим на гниlostную тяжесть искажённого леса.

Между соснами бежал ручей, не чёрный, как Серебряный, а прозрачный, хрустальный, искрящийся в лучах солнца. Но вода его вела себя странно: с тихим шипением, похожим на шёпот предостережения, она уходила под землю, в расщелину у корней центрального камня, поросшего изумрудным мхом. Казалось, ручей не просто стекал вниз, а втягивался туда, поглощаемый некой древней силой.

Роща открылась внезапно, один шаг, и лес кончился, будто обрезанный невидимым ножом. Перед путниками раскинулось круглое пространство, залитое странным, ровным светом. Здесь само небо светило иначе, не так, как над полями и лесами: свет был мягче, рассеянее, пропитан какой-то древней магией. Тени не ложились привычно, они дрожали, колыхались, будто живые.

По краю поляны стояли камни, огромные, в рост человека, грубо обработанные, но в каждом угадывалось лицо. Выветренное, стёртое временем, с размытыми чертами, но всё ещё смотревшее, неотрывно, неотвратно, в центр, на алтарь. Лица эти не были похожи друг на друга: одно хмурилось, второе скорбело, третье словно усмехалось, но все они были обращены к одному, к сердцу этого места.

Алтарь был прост: плоский валун, отполированный прикосновениями многих поколений. В его поверхности выдолблено углубление, ниша, отделанная почерневшим серебром, когда-то, видимо, мерцавшим в свете жертвенных огней. Теперь она была пуста. Пустота эта казалась живой, зияющей, голодной, будто алтарь ждал, когда его наполнят вновь.

Рядом валялись отколотые куски камня, острые, неровные, с ещё свежими сколами, блестящими в свете. Возле основания алтаря виднелась свежая земля, ещё не успевшая затянуться травой и мхом, рыхлая, взрыхлённая, будто кто-то торопливо, грубо вырывал что-то из недр камня. Следы взлома кричали о насилии, о нарушении древнего порядка.

Чаровлад сполз с коня, не чувствуя ног, будто силы совсем покинули его в тот самый миг, когда он увидел опустошённый алтарь. Он подошёл к камню, упал на колени, дрожащими руками коснулся холодной, пустой ниши. Пальцы скользнули по чёрному серебру, по трещинам, по следам чужого вторжения. Его плечи затряслись, не от рыданий, а от какой-то глубокой, невыразимой боли, от осознания свершившегося.

— Забрали... — прошептал он. — Лунного Лика... Глаза, что видели правду. Без него он слеп. И яроsten. И никого не простит.

— Лунный Лик? — Гриша стоял рядом, не решаясь прикоснуться к древнему камню.

— Череп из чистого серебра. С глазами-хрусталими. Не просто святыня, а часть самого Бора. Его способность видеть сквозь время, сквозь ложь, сквозь людские сердца. Неприкосновенность этого места было залогом договора. И его нарушили.

Гриша медленно обошёл алтарь. Внимание привлёк куст папоротника у подножия, прямой, сломанной веткой. Он опустился на корточки, раздвинул листья.

Пряжка. Небольшая, бронзовая, с затейливой чеканкой. Такие носят не крестьяне. И явно, не лесные звери. Такие украшают пояса городских жителей. Дружинников. Торговцев. Ремесленников.

На металле был чуть заметный, стёртый узор. Гриша поднёс пряжку к глазам, и сердце его ёкнуло.

Это был не родовой знак. Но он видел такое раньше. На поясе у кого-то из свиты.

Он сунул находку за пазуху.

— Здесь был человек из города, — глухо сказал гонец. — Не из Заозерья. Он обронил кое-что.

Чаровлад медленно поднял голову. Его глаза, воспалённые, красные, вдруг стали острыми.

— Значит, вор не из леса. Вор из-за стен. Из тёплых изб, из-под крестов и куполов. — Он горько усмехнулся. — Всегда так. Свои страшнее чужих.

Они не успели уйти, не сделали и трёх шагов от осквернённого алтаря, как воздух вокруг сгустился, стал вязким, словно смола, а солнечный свет, ещё миг назад заливавший поляну, померк, будто его поглотила невидимая пелена.

Из-под корней древних сосен, из расщелин камней, из самого мха начали подниматься тени. Не дым, не туман, нечто иное, противоестественное. Бесформенные, текучие, они колыхались, принимая очертания, от которых кровь стыла в жилах. У них едва угадывались лица, безглазые, безротые, но со страшной, голодной пустотой там, где должны быть черты. В этой пустоте таилась древняя, неутолимая жажда, не жизни, а её поглощения.

— Тензи, — выдохнул Чаровлад, и голос его дрогнул, впервые за всё время пути утратив привычную твёрдость. — Низшие стражи. Безумные, как и их хозяин. Они не помнят договора,

что скреплял лес с людьми. Они помнят только боль, ту, что впилась в их сущность, когда Лунный Лик был похищен.

Круг сжимался неумолимо. Тени тянули к ним свои «руки», не конечности, а сплетения веток, корней, сгустки тьмы, извивающиеся, как щупальца глубинного чудовища. От них веяло могильным холодом, от которого дыхание превращалось в пар, а кончики пальцев немели. Гриша почувствовал, как по спине побежал ледяной пот: даже летний зной не мог прогнать этот сверхъестественный холод, проникающий до костей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.